

ИВАН ВОЛОШИН геолог одной из экспедиций нефтеразведки получил неожиданного отпуск летом. Раньше ему как-то не везло в этом, отпуска приходились на любое время года, а на лето — первый.

Было начало июля и Волошину уже чудились запахи свежежскошенного сена, луговой дутики, первой забавы детства. И неудержимо его потянуло побывать в родной деревеньке, которую оставил двадцать лет назад. Знал: деревни той уже нет, жители ее переехали в соседнее село, где и ныне живет его тетушка Степанида Макаровна.

Встретила Ивана Степанида Макаровна с радостью, всплакнула в свой ситцевый фартук — родных-то, кроме него, никого не осталось.

— Хорошенький ты мой, — сквозь слезы говорила она, — как я тебя вспоминала часто. Икалось ли хоть тебе? Вот на этих полатках ты спал у меня, когда в школе-то учился.

Волошин оглядел полати, тогда они были всегда свежескобленные, сейчас покрашены яркой желтизны краской, но ничуть не портили этим привычной прелести старой избы. И русская печь у тетки та же, только обочины тоже покрашены. И пол уже, видно, не скоблится, как раньше, и он под краской. Все это враз ухватил Иван. Порадовался.

А тетка Степанида уже уставляла стол закусками, вот и самовар появился. Тетушка слыла чаевницей великой. Иван, привыкший к крепкому чаю на таежных стоянках, с трудом осилил две чашки, а Степанида Макаровна только входила в раж. Пила чашку за чашкой до великого притомления, передохнув за расспросами да разговорами, принималась заново.

— С дороги устал, батюшка? — спросила, наконец, и тут же засуетилась: — Стул-пайка на сеновальчик, там и дерюжка и подушка есть. Отдыхай, лапушка ты мой.

— Да нет, тетушка, я лучше по селу пройдуся.

— Как знаешь. Новизны-то, верно, много у нас.

Волошин вышел из дома, постоял у старой церквушки, на которой теперь не было ни крестов, ни куполов. Над входом вывеска: «Библиотека». А на месте старого нардома стояло новое здание клуба. Вот только школа, такая знакомая, осталась прежней, лишь по бокам появились пристройки.

Не одну зиму вбегал он на это крыльцо, носился по шумному коридору. Когда был ком-

сомальцем, собрания всегда проводили вон в том классе — три окна с краю. Какими интересными были собрания! Комсомальцев уже тогда было за пятьдесят, секретарствовал последние два года Ваня Волошин.

И кольнуло что-то, остановился даже. Не забылось, значит... Пришла на память Уля Колкова. В нее Ваня влюблен был без памяти. Будто и сейчас видел он ее черные с быстриной глаза, глянет, бывало, в голову звон. Только любовь эта была самая безответная. И куда было тянуться ему тогда за Улей, единственной дочкой в семье Колковых. Не жили ее, хилили и волю давали полную. В семье же Волошиных кроме Вани семеро по лавкам — тут не до хили.

И подала вдруг заявление в комсомол Уля. За принятие ее решил Ваня голосовать обеими руками, а вот потом едва обобрался позора. Вопросов к Уле посыпалось тогда неожиданно для него много.

— Почему учишься плохо?

— С чего это поехала в поле к трактористам с незнакомым механиком?

— Доколе будешь гулять до полуночи на улице?

В комсомол Улю не приняли.

И еще вспомнилось Ивану: их класс был рядом с учительской. Сидел Ваня всегда на «камчатке» у самой печи. А над печью просвет. Если встать на парту, слышен весь разговор в учительской. На очередной разбор поступка Ули Колковой у проема собралась половина класса. Поступок был из вон выходящим. Очередным «увлечением» Ули явился приехавший механик МТС. И Уля совсем забросила учебу. Директор школы Помина Васильевна после строгого и долгого внушения спросила:

— Как ты все это расцениваешь, Колкова?

Уля долго молчала, потом выпалила:

— Чем я виновата, если родилась красивой, как Венера? Через проем не было видно, какое было выражение на лицах педагогов, но в учительской наступило тягостное молчание. Нарушил его тихий смехок, а потом чуть ли не хохот. И затем строгий голос директорши:

— Какая ты еще глупая, Колкова.

Однако любовь Вани не пошла на убыль даже после этого. Красоту Ули зачеркнуть было нельзя. Пронзительный взгляд ее темных глаз преследовал его на каждом шагу,

днем и ночью. А юношеская любовь имеет еще ту особенность, проходит она через призм чистейшего кристалла и всякие теневые стороны кристалл этот не воспринимает. Домой, к тетушке, Волошин вернулся под вечер. Из районного центра приехал дядя Кузьма, муж Степаниды — ездил хлопотать о пенсии. Работал он последнее время заведомом при местной больнице.

— Макаровна, жди нас завтра с карасями, — воскликнул он, встречая Волошину. — Чай, не забыла наши прежние вылазки? — спрашивал он.

— Как можно, дядя Кузьма! — отвечал Волошин, освобождаясь от объятий Кузьмы.

— Ну ну, завтра и двинем.

Стол у Степаниды Макаровны уже был накрыт. За рюмками наливки вели неторопливую беседу, вспоминая, кто из сельчан жив, где обитает. Все, о чем поведал дядя Кузьма, для Волошина было новым. Более чем двухдесятилетнее отсутствие в родных краях — срок не мал. Как бы мимоходом Иван спросил и об Ульяе Колковой.

— Так теперь она давно не Колкова, а Мятлина, — пояснил Кузьма.

— Мятлины? Это которые?

— Егорка Мятлин. Отец его в ту пору погорельцем оказался.

Иван вспомнил приход Егора со службы из флота, бравого моряка в матросской форме, щеголявшего по селу всем на зависть, особенно парням и девкам.

— В селе живет Егор? — спросил тоже как бы между прочим и ненароком Волошин.

— Помер Егорка. Чахоточный был. Держался сначала, да зашибал очень. Это и усугубило.

— А Ульяа?

— Та живет за рекой, третий дом с краю.

Вечерняя беседа на этом и закончилась. Иван отправился спать на сеновал и еще долго лежал без сна, мысленно перелопачивая впечатления дня и события, сообщенные дядей Кузьмой. На сеновале приятно пахло увядающими травами, и Ивану чудилось, что лежит он, как в прежние времена детства, в шалаше на алапных покосах, и чудилось ему, что вот-вот раздастся знакомый звон молотка дяди Даниила, отбивающего по утрам косы.

Г. ШАБАЛИН.

(Окончание следует.)

РАССКАЗ

В ОТПУСКЕ

(Начало в № 108).

В путанный узор мыслей вплеелся и образ Ульки, все той, какой она была в пору их юношества и иной ее он представить не мог. Не мог нарядить в замызганный пиджачишко, потрепанные с бахромою брюки, худого, с испитым лицом Егорку Мятлина, каким рисовал в своем рассказе дядя Кузьма. Как это — бравого моряка и опустившийся с замызганной судьбой пьяница?

И тут вспомнилась Ивану та роковая минута, положившая водораздел в его безответной любви к Ульке Колковой. Любви-то, по сути дела, не уменьшилась, но в ней появился осадок, который разъедал всю душу долгие годы. Осадок постепенно размывался, но чувство затахлости этой оставалось долго.

Перекидываться шпалгалками, писульками, иногда и интимного характера, в классе было явлением обычным. И вот однажды уже в последнюю весну пребывания в школе, на парту Вани Волошина упал свернутый пакет с надписью: «Лично Ване В.» О, как забило сердце при виде знакомого почерка! Ваня торопливо развернул пакетик, прочел:

Надоели все науки,

Ничего в них не понять.

Просидел насквозь я брюки,
Не в чем выйти погулять.

Сердце упало куда-то в пустоту, в холодную бездну, стыд толчками гнал кровь к вискам, заливал все лицо краской.

Это была звонкая пощечина, ответ на все искания его души, и жестокое оскорбление. К тому же все было правдой.

На перемену он не пошел. Просидел и вторую. Выходить было просто стыдно. Брюки-то, действительно, порваны.

..Вечером Волошин оделся особенно изысканно. Белая сорочка, галстук. И пошел прямо за реку. Вот знакомая, старая мельница, пруд. Те же места, по каким ходил и прежде. Тихая, но незнакомая калитка, а все же входить в нее страшно и непривычно. А выйти надо.

Улька, как-то неожиданно появилась на крыльце. Все такая же стройная, со своими черными пронзительными глазами. Казалось, годы мало изменили ее. Вглядевшись на вошедшего, вскрикнула:

— Ваня! Какими судьбами? — И стремглав бросилась на встречу Волошину.

Зашли в избу, сели за шаткий столик в передней комнате, начались расспросы, рассказы о прожитом. Волошин пылливо всматривался в Улькины глаза и почти не находил в

них перемены. Такие же черные, влекущие, но в то же время выделась в них и житейская усталость, и даже некоторая опустошенность.

— Егор у меня был вторым, — с какой-то надрывностью рассказывала Улька, — за первого, Алешу Фокина, я вышла. Вышла бездумно. Слов нет, красив был. Но очень уж ревнив. Ушел в армию. И чуть тятю отпудова не дал, все беспокойся за меня. Ну, тут и Егорка Мятлин подвернулся...

Говорила обо всем этом Улька отрывисто, как-то вздыхая, будто потеряла что-то. Понять ее было трудно.

— Мутить-то мозги ты умеешь, — обронил Волошин.

— Чего в молодости не бывает, — вздохнула Улька, и уткнулась в подол своего ситцевого фартука.

— И я ведь в тебя был влюблен, — обронил Волошин, и совсем не почувствовал прежнего трепета в своем голосе.

А Улька все говорила и говорила, только того магического воздействия для Вани Волошина в речах ее уже не было. Время катилось к позднему, считай, ночи. Улька предложила ему койку в прихожей, скорее, в сенях. Волошин разделся, ощущая прохладу июльской ночи, с наслаждением растянулся на панирной сетке. Он уже начал дремать, когда на край кровати села Улька.

— Ты что? — спросил он.

— Завтра не сможешь мне сено метать? — спросила она.

— Что ж, труд я люблю...

Пойдем.

Улька долго маялась на краю шаткой койки, но Волошин так и не прикоснулся к ее руке, которая часто скользила по его груди, останавливаясь против сердца, но не нашла ответа.

Утром они ушли на Фадины луга, где были покосы. Работали почти молча, разве только когда сближались, перекидывались отдельными репликами. Все чувства Волошина были переполнены впечатлениями юности, но он какой-то незримой границей силы воли отчуждал их, отодвигал от себя. Хотя все происходящее сейчас ему казалось нереальным событием, постигнуть которое он не мог.

Под вечер она сварила ужию. Ответ костра только оттенял темноту временного шалаша. Улька была ласкова и в какой-то тягостной истоме. В котелке булькал суп, издавая приятные запахи. Над лесом встала луна, и Фадины луга стали поразительно красивыми. Вдали темнели тальники, а по кощоватому покосу стлалась такая лунная синева, какой никогда не выдавал Волошин раньше. Он отошел от шалаша, постоял, оглянулся на Улька,

стоявшую в свете костра, и подумал: «И все ж-таки красива, чертовка!»

Когда вернулся обратно, Улька сидела на спившейся коледе дерева в задумчивой позе, взгляд ее блуждал по угольям костра, казался отрешенным.

— Скажи, Ваня, ты счастлив в жизни? — спросила она вдруг.

Вопрос для Волошина был неожиданным и несколько странным. До этого философских рассуждений от Ульки он не слышал. Волошин долго молчал, собираясь с мыслями, помешивая прутиком уголь костра. Они были то пепельно белые, то синеватые.

— Пожалуй, счастлив, — ответил он, — но счастье это у каждого свое. У меня любимая работа, а это уже отраднее. Человек счастлив в достижении цели, если она есть у него. У меня она есть.

— Ты говорил, что любишь меня? — вдруг спросила она, — нашла бы сейчас с тобой счастье?

Такой вопрос опять застал Волошина врасплох, но он постарался собрать свои мысли воедино, напрягая всю волю и рассудительность. Подумал, что могло бы быть общего с Улькой у них сейчас? Пришел к выводу, в этой цепи не хватало очень многих и многих звеньев, главное из которых было то, что Улька выделась ему каким-то предметом, вполне осязаемым, но прозрачно пустым. Вот как эта бутылка, что стояла у кошелки с припасами.

— А ты была бы счастлива, если бы такое случилось? — спросил он.

— Да, была бы очень, очень счастлива, — засмеялась она.

— Только надоело ли? Да и поздно ты хватилась думать об этом, — вздохнул Волошин. Перед его глазами прозрачным видением промелькнули события его прежней безответной любви к Ульке и на душе стало грустно. Но сожаления особенно не было.

Когда укладывались спать, «Улька сказала:

— Что ж, пусть останется все, как прежде. Были школьными товарищами, ими и останемся.

Волошин мысленно согласился с этим. От реки тянуло легкой прохладой, приятная истома охватывала уставшее тело, но в душе Волошина поселилась и росла какая-то неосознанная тревога. Скорее, сожаление о прошлом.

Над лугами разливался лунный свет. Стояла трепетная тишина, замолкли даже сверчки. И тишина давила на виски, как боль об ушедшем времени.

Г. ШАБАЛИН,